

Ходорев С.В.

В ПУТЬ



18+

Сергей Ходорев

В ПУТЬ

«Автор»

2026

Ходорев С.

В ПУТЬ / С. Ходорев — «Автор», 2026

«В путь» — это история о взрослении в условиях тотального одиночества и безысходности. Сергей Хударев проходит через спецшколу, тюрьмы, этапы и лагеря, сталкиваясь с жестокостью системы и равнодушием близких. Его детство — это бегство от родителей, голод под лестницей и кражи из-за нужды. Судьба бросает его по этапам: Колпашево, Нижневартовск, Тюмень, Новосибирск, Мариинск... В каждой камере он учится выживать, опираясь только на себя. Книга показывает, что за решёткой человек может найти не только врагов, но и тех, кто поделится последним куском хлеба или сигаретой. Это повествование о том, как можно сохранить человечность даже там, где её пытаются вытравить, и о том, что надежда остаётся до последнего вздоха.

© Ходорев С., 2026

© Автор, 2026

Сергей Ходорев

В ПУТЬ

Часть V. Конверт

Оглавление

- Глава 1. Воронок**
- Глава 2. Обыск**
- Глава 3. Отстойник**
- Глава 4. Колпашево**
- Глава 5. Камера**
- Глава 6. Дорога**
- Глава 7. Барбульки**
- Глава 8. Руслан**
- Глава 9. Вася**
- Глава 10. Кровь**
- Глава 11. Изолятор**
- Глава 12. Земляки**
- Глава 13. Суд**
- Глава 14. Приговор**
- Глава 15. После приговора**
- Глава 16. Этап**
- Глава 17. Нижневартовск**
- Глава 18. Брага**
- Глава 19. Прогулка**
- Глава 20. Столыпин**
- Глава 21. Сон**
- Глава 22. Утро в столыпине**
- Глава 23. Песня
- Глава 24. Круглолица
- Глава 25. Тюмень
- Глава 26. Воронок
- Глава 27. Централ
- Глава 28. Транзит
- Глава 29. Кружка
- Глава 30. Новосибирск
- Глава 31. Полосатики
- Глава 32. Малолетки
- Глава 33. Пахан
- Глава 34. Альбатрос
- Глава 35. Сало
- Глава 36. Опять дорога
- Глава 37. Мариинск
- Глава 38. Клопы
- Глава 39. Рубль
- Глава 40. Хлеб
- Глава 41. Томск
- Глава 42. Карантин

- Глава 43. Ваня
- Глава 44. Карты
- Глава 45. Капсула
- Глава 46. Конь
- Глава 47. Анаша
- Глава 48. Вскрытие
- Глава 49. Сказка
- Глава 50. Мать
- Глава 51. Мечта
- Глава 52. Сборы
- Глава 53. Дорога в лагерь
- Глава 54. За забором
- Глава 55. Наколки
- Глава 56. Последняя дорога

Глава 1. Воронок

Сергей сидел в воронке и смотрел на свои руки. Руки были как чужие — красные, обветренные, с трещинами на костяшках, которые не заживали уже, наверное, месяца три. Он пытался вспомнить, когда последний раз мыл их тёплой водой, с мылом, по-человечески — и не мог. В памяти всплывал только холодный кран в камере предварительного заключения, ржавая вода, пахнувшая железом, и серое полотенце, которое разделяли на четверых.

Воронок, это не машина. Это клетка на колёсах. Внутри — решётки, делящие кузов на секции, как в зоопарке: в одной, одни звери, в другой, другие. Сиденья — жёсткие, деревянные, обшарпанные, прикованные к полу. Пахнет бензином, мокрой одеждой, чужим потом и ещё чем-то, чему нет названия, — запахом безысходности, может быть. Или просто запахом большого количества запертых в замкнутом пространстве людей, которые давно не мылись.

Сергей сидел в средней секции, напротив старика. Старик был из тех, кого называют «каторжанами» — не потому что каторга, а потому что сидят давно, много, по-настоящему. Лицо — как мятая карта: морщины шли по нему во все стороны, будто кто-то провёл ногтями по глине. Руки — большие, узловатые, с желтизной под ногтями, от табака, от работы, от жизни, которая не баловала. Сидел он за ерунду — за пару алюминиевых фляг, которые стащил с завода. Воры — но не крупные, а мелкие, вроде тех, что крадут с предприятий всё, что плохо лежит. Фляги — алюминиевые, лёгкие, на цветмет сдашь, копейки, а копейки на воле, деньги.

Старик посмотрел на Сергея — не оценивающе, не злобно, а так, как смотрят на молодых в этих местах: с тихой, усталой жалостью, смешанной с уважением. Молодой — значит, впереди ещё весь срок. Молодой — значит, ещё не понимает, во что вляпался. Молодой — значит, может, ещё выкарабкается. А может — нет.

— Этап? — спросил старик, не повышая голоса. Голос у него был низкий, хриплый, как будто кто-то тёр наждаком по дереву.

— Этап, — кивнул Сергей.

— Первый раз?

— Первый.

Старик помолчал. Поковырял в зубах — зубы были жёлтые, редкие, один передний, золотой, тускло блеснувший в тусклом свете. Потом сказал:

— Не суетись. Самое главное — не суетись. Когда выгонять будут — иди спокойно. Когда обыскивать будут — молчи. Когда спросят «обиженный — не обиженный» — говори: не обижен, по жизни всё нормально. Понял?

— Понял.

— И не огрызайся. Тут не спецшкола, тут за огрызок — дубинкой по хребту, и никто не спросит, как тебя зовут.

Сергей кивнул. Спецшкола. Странно — он вспоминал её теперь как что-то почти безобидное. Забор, вышки, собаки, Марья Петровна с её «будь добр», карцер — всё это казалось детским лагерем по сравнению с тем, что ждало его здесь. Там он был малолеткой. Здесь — тоже малолетка, единственная во всём этапе, но правила другие. Здесь не воспитывают. Здесь содержат. Разница — как между тем, кто учит тебя плавать, и тем, кто просто бросает в воду.

Старик, будто прочтя его мысли, покачал головой.

— Ты, малой, не бойся, но и не геройствуй. Тут вот какое дело: кто суется — того бьют. Кто молчит — того не трогают. Кто герой — того ломают. Понял?

— Понял.

— Вот и хорошо. А ты по какой статье?

— Сто сорок четвёртая, часть первая. И сто шестьдесят третья.

Старик присвистнул — еле слышно, одними губами.

— Грабёж? Серьёзно. А сто шестьдесят третья, это что?

— Умышленное причинение вреда здоровью.

— Ого. Ну, малой, ну... И сколько дадут?

— Не знаю. Суд будет. Пока — следствие.

Старик помолчал, поскрёб подбородок — серый, колючий, как наждачка, и сказал негромко:

— Может, условный дадут. Если первая судимость, если молодой. Ты ж первый раз?

— Первый.

— Ну вот. Может, пронесёт. А может — нет. Тут как в жизни: пока не приговорят — не знаешь. А когда приговорят — уже всё знаешь, да поздно.

Сергей не ответил. Не потому что не хотел — а потому что нечего было сказать. Он и сам не знал, что его ждёт. Надежда — слабая, тусклая, как та лампочка в воронке, ещё теплилась где-то внутри, но он давно научился не греться на неё. Греться на надежду — как греться на спичку: вспыхнет и погаснет, а ты останешься на том же месте, только ещё холоднее.

Воронок качнулся — поехали. Сергей посмотрел в зарешёченное окно: серое небо, серый снег, серые деревья, серые заборы. Зима. Всё — серое, будто мир нарисовали карандашом и забыли раскрасить. Деревья стояли голые, чёрные, как мачты затонувших кораблей, и снег лежал на них грязными шапками, и под шапками были инеевые ресницы, и когда воронок качался, иней осыпался — мелкой, колючей пылью.

Старик, будто заскучав от молчания, заговорил опять:

— Ты откуда сам-то?

— С севера. Стрежевой.

— Далеко. А сюда как — по этапу?

— Вертолётom. Из СИЗО.

— Вертолётom, — старик хмыкнул. — Ну, хоть прокатился. Кто-то за деньги летает, а мы — за казённый счёт. Бесплатно. Только обратно не привезут.

Сергей невольно усмехнулся — тихо, беззвучно, одними губами. Старику, видно, стало легче от того, что малолетка хоть как-то отреагировал, и он продолжил:

— Я вот, малой, третий раз сижу. Первый — молодость, дурака валял. Второй — по глупости. Третий — вот, фляги эти дурацкие. А ты — первый раз. И сразу такое. Ты ж, небось, и не понимал, что делал.

— Понимал, — ответил Сергей. — Понимал.

— Ну. Тогда — держись. Раз понимал — значит, знал, на что шёл. А кто знал — тому проще. Кто не знал — тот ломается. А кто знал — тот привыкает.

— А вы? Привыкли?

Старик посмотрел на него — и впервые в его мятом лице мелькнуло что-то живое, не усталость, не привычка, а, тень удивления. Малолетка спрашивает. Малолетка — спрашивает старого каторжанина, привык ли тот к тюрьме. И в этом вопросе — больше, чем кажется. Не любопытство — попытка понять. Попытка заглянуть за забор, за который ещё не дошёл.

— Привык, — сказал старик после паузы. — Привык. Но это не значит, что хорошо. Привыкнуть — не значит смириться. Привыкнуть — значит перестать удивляться. Перестать удивляться — значит перестать ждать. Перестать ждать — значит наполовину умереть. Так что — привык. Наполовину.

Сергей молчал. Слова старика — простые, казённые, как формуляр, въедались, как холод. «Наполовину умереть». Он не хотел умирать. Даже наполовину. Но чувствовал — что-то в нём уже умирает, тихо, постепенно, как мёрзнет тело на морозе: сначала немеют пальцы, потом кисти, потом, всё остальное, и ты уже не чувствуешь, где ты, а где, холод.

Ехали недолго — минут двадцать, может, полчаса. Воронок остановился у шлюзов. Шлюзы, это ворота в другой мир: по одну сторону — воля, по другую, неволя, и между ними, полоса, ничья земля, где тебя проверяют, щупают, досматривают, прежде чем пропустить. Это называется «конверт» — место, где охранники тюрьмы досматривают воронок: днище, колёса, все щели, все закоулки, где можно спрятать что-нибудь, телефон, наркотики, нож, заточку. Конверт, это вытянутый прямоугольник из бетонных стен и решётчатых ворот с обеих сторон. Машина заезжает в него — задние ворота закрываются, и ты заперт между двумя стенами, как письмо между двумя листами бумаги. И тебя «читают».

Стояли в конверте недолго — минут пять, может, меньше. Охранники — двое, в тёмно-синей форме, с дубинками на поясе, обошли воронок, посветили фонарями под днище, заглянули в колёсные арки, простучали кузов снаружи, сухо, методично, без интереса, как люди, которые делают это по сто раз в день и давно перестали замечать, что за решёткой, живые люди. Один из них сказал что-то в рацию — неразборчиво, казённо. Потом передние ворота — заскрежетали, медленно, будто нехотя, разъехались в стороны, и воронок медленно выехал на территорию тюрьмы.

Тюрьма. Сергей смотрел в окно и пытался рассмотреть — но всё расплывалось, плыло, как в тумане. Серые здания, серые стены, серые заборы с колючей проволокой, которая провисала кое-где, ржавая, усталая, как старая паутина. Дворы — пустые, заасфальтированные, с потрескавшимся асфальтом, в трещинах которого набился снег, грязный, жёлтый, будто болезнь. Фонари — высокие, металлические, с плафонами, покрытыми инеем. Часовые на вышках — тёмные силуэты, неподвижные, как шахматные фигуры, поставленные на доску и забытые. И тишина — странная, неестественная, будто тюрьма не живёт, а терпит, как пациент в палате, у которого нет сил даже стонать.

Старик, глядя в то же окно, сказал негромко:

— Колпашево. Я тут уже был. Два раза. Страшное место. Леса вокруг — на сотни километров. Из этих лесов — никуда. Только тайгой. А тайга — она не отпускает.

Сергей посмотрел на старика. Тот сидел, сложив руки на коленях, и смотрел в окно — спокойно, без страха, без интереса, как смотрят на пейзаж, который видели сто раз. И от этого спокойствия — от этого полного, абсолютного безразличия, стало страшнее, чем от любого крика или удара.

Воронок подъехал к зданию — серому, трёхэтажному, с высокими окнами, забранными решётками, и такими узкими, что казалось, будто здание прищурилось. Конвой вышел из воронки, и Сергей услышал, как за кабиной о чём-то переговариваются — голоса глухие, казённые, вроде бы передавали дела, подписывали бумаги. Ещё минут пять они сидели молча, ожидая. В воронке было тихо — никто не разговаривал, все молчали, каждый со своим молчанием, со своим страхом, со своей надеждой, которая уже не была надеждой, а привычкой, надеяться на что-то, что никогда не сбывалось.

Старик наклонился к Сергею — близко, так что стало видно каждую морщину, каждый волосок бороды, и сказал тихо, почти шёпотом:

— Сейчас будут выгонять. Помни — не суетись. Иди спокойно. Сумку держи крепко. Когда спросят «обиженный» — говори спокойно, не дёргаясь. Понял?

— Понял.

— Ну, с Богом, малой.

Сергей посмотрел на него. «С Богом». Странно слышать это от человека, который третий раз сидит за кражу фляг. Но — звучало. Не как формула, не как присловье — а как правда. Последняя правда, которую один арестант может сказать другому перед тем, как дверь откроется.

Потом залез один конвоир — с ключом от решёток. Ключ — большой, железный, на кольце, который звякал при каждом движении, как колокольчик на шее овцы. Конвоир вставил ключ в замок — щелчок, и решётка соседней секции поехала в сторону с лязгом, от которого у Сергея что-то сжалось внутри. Не страх — скорее, привычный рефлекс: лязг, значит, что-то начинается. В спецшколе так же: щелчок замка — и встаёшь, идёшь, делаешь, что говорят. Тело помнит то, что голова давно забыла.

— Давай, давай, собаки, шевелиться! — конвойные кричали, и в их крике не было злости — была усталость, привычка, конвейер. — Выходи по счёту! Первый, второй, третий!

Каторжане — взрослые мужики, потёртые, обвыкшие, выскакивали из воронка быстро, привычно, без суеты, но без промедления. Они знали: медлить нельзя. Медлительность в этих местах, это не лень, это провокация. Ты медлишь — тебя торопят. Тебя торопят — ты злишься. Ты злишься — ты получаешь. Простой механизм, как рычаг: нажал — поехал, не нажал, стой. Так — всегда. Везде.

Очередь дошла до их секции. Конвоир открыл решётку — тот же лязг, тот же щелчок, и продолжил счёт:

— Восьмой, девятый...

Сергей вышел из-за решётки, встал в проёме, выглянул наружу. Мороз ударил в лицо — привычный, знакомый, почти родной. Минус двадцать, может, больше — он не сразу определил, но воздух был сухой, колющий, пахнувший снегом и ещё чем-то, чему нет названия, запахом казённого двора, запахом бетонных стен, запахом чужой территории. Небо — низкое, серое, как потолок в казарме, и от него шёл такой холод, будто оно давило, не столько температурой, сколько тяжестью. Зима. Всё — как всегда. Зима его не пугала. Он вырос в зиме. Зима была — как мать, которая не любила, но была рядом, всегда, каждую минуту, каждую ночь, каждый день.

Сергей спрыгнул из воронка. В руках — небольшая сумка, потёртая, из тёмной ткани, с молнией, которая заедала. Внутри — почти ничего: пара сменного белья, кусок мыла, тюбик пасты, который уже почти выдавили. Никто ему ничего не приносил на свиданки — не потому что нельзя, а потому что некому. Мать не приехала бы, отец не приехал бы, братья — не знали, наверное, даже, где он. Но зеки — вот странно, собрали по камере: кто-то дал мятый блокнот, кто-то, пару ручек, кто-то, пачку чая, кто-то, пачку сигарет, кто-то, немного сахара. Не из жалости — из привычки: этап, это всегда сбор. У одного есть, у другого нет, у третьего — только то, что в кармане. Так — всегда. Так — везде. Когда у всех мало — делятся. Когда у всех много — нет. Это Сергей знал.

Он увидел коридор из охранников — они стояли по обе стороны, от воронка до входа в здание, как два ряда каменных столбов, и в руках у каждого, дубинка, которой он похлопывал по ладони или по бедру, ритмично, методично, как метроном. Не били — пока. Постукивали. Звук был глухой, басовитый, и от него по спине бежал холодок — не от мороза, а от понимания: это не для тепла, это для тебя. Это — предупреждение. Это — давление. Психологическое.

Тебя не бьют — тебе дают понять, что могут. И ты бежишь. Не потому что страшно — а потому что так надо, потому что медленно, нельзя, потому что медленно, это провокация.

Сергей схватил свою сумку — привычным жестом, прижав к боку, как косуху, и побежал, не глядя по сторонам, не оглядываясь, не поднимая головы. Один раз споткнулся — нога попала на лёд, тело качнулось, рука метнулась вперёд, но удержался, выправился, побежал дальше. Ничего. Мелочь. В спецшколе — тоже бегали, тоже спотыкались, тоже, «давай, давай». Разница была в одном: в спецшколе бегали мальчишки, а здесь — мужики, и от мужиков пахло иначе, не страхом и не детской злостью, а чем-то более тяжёлым, затхлым, вьёвшимся: безнадёжностью, может быть, или просто временем, которое провоняло в них, как табак в старой куртке.

После входа в тюрьму — крик: «Сумки в угол! Беги дальше! Стройся вдоль стены!» И Сергей бросил сумку, побежал дальше по коридору — длинному, тёмному, с кафельными стенами, бледно-зелёными, как лицо больного, и с эхом, которое повторяло каждый шаг, каждый крик, каждый звук, как будто коридор запоминал всех, кто через него прошёл, и хранил эти звуки в себе, наслаивая одни на другие, день за днём, год за годом.

В углу коридора уже образовалась приличная куча из сумок, авосек, пакетов — всё брошено в беспорядке, одно на другое, как вещи на свалке. Куча росла с каждым новым арестантом, и охранники стояли рядом, не обращая на неё внимания, будто это было не имущество людей, а мусор. Для них — мусор. Для тех, кто бросил — всё. Всё, что у них есть в этом мире. Всё, что связывает их с волей, с домом, с тем, что было — до.

Сергей встал вдоль стены. Стена была холодная — кафель, ледяной, и холод от неё забирался под куртку, под свитер, под рубашку, под кожу. Он стоял и ждал. Ждал, как всегда. Как в спецшколе — на линейке, на проверке, на разводе. Ждать, это первое, чему учат в неволе. Ждать, это не действие, это состояние. Ждать — значит не решать, не выбирать, не хотеть. Просто — стоять и ждать, пока кто-то не скажет: теперь ты. Или: не ты. Или ничего не скажет, и ты будешь стоять, пока не упадёшь, а потом тебя поднимут и поставят, и ты будешь стоять опять. Так — всегда. Так — везде.

Это была психологическая давка. Не побои, не крик — давка. Тебя загоняют в коридор, запирают, лишают вещей, лишают имени — пока ты в коридоре, ты не Сергей, не Петров, не Иванов, ты, арестант, ты, номер, ты, ничего. И от этого «ничего» внутри что-то ломается, поддаётся, как лёд под ногой, — не сразу, а постепенно, по миллиметру, и ты чувствуешь, как ломается, и не можешь остановить, потому что некуда опереться, не за что держаться. Так — задумано. Так — работает.

И Сергей стоял, и ждал, и думал — не о том, что будет дальше, а о том, что было раньше. О ковриках под лестницей. О ПАЗе с торчащим поролоном. О батарее, к которой он прижался щекой и заснул — первый и последний раз, когда тепло было его. О Вере, которая гладила медведя с одним глазом. О Нине, которая сказала «будь добр» — два слова, а тепла в них было больше, чем во всех годах с матерью. О Толе, о Сашке, о дяде Саше. О тёте Наде, которая крикнула «Серёжа!» — и в этом «Серёжа» было всё, чего ему не дали. Всё — в одном слове. В одном крике. В одном — чужом, голосе.

Глава 2. Обыск

Построили всех — в окончике, у окна в торце коридора, через которое пробивался бледный зимний свет, лежавший на кафеле тусклым, неровным пятном. Охрана более-менее успокоилась: половина ушла по своим делам — на посты, в дежурку, в кабинет, осталась трое: два контролёра с пачками личных дел, серых, толстых папок, перевязанных бечёвкой, и один старший, который стоял чуть в стороне, скрестив руки на груди, и смотрел.

— Будем называть фамилии, — сказал один из контролёров, не повышая голоса, но так, что услышали все. Коридор был гулкий, и звук летел по нему, отскакивая от кафельных стен, и каждое слово звучало дважды: сначала — из уст контролёра, потом — из уст коридора, и

второй раз — всегда тише, глуше, будто эхо не соглашалось с оригиналом, но подчинялось. — По названию фамилии — подходить, называть имя, отчество, год рождения, статьи. Забирать свою сумку из угла. Идти на обыск. Понятно?

Молчание. Кивки. Кто-то переступил с ноги на ногу — кафель заскрипел под ботинком, и звук был резкий, как царапина. Сергей стоял и ждал. Ждал своей фамилии, как ждут приговора — не потому что не знаешь, а потому что не знаешь, когда. И это «когда» — хуже, чем «что». «Что» — уже известно. А «когда» — тянется, тянется, как резина, и от натяжения внутри всё звенит.

Контролёр начал называть — монотонно, без выражения, как зачитывают список на собрании:

— Абдуллаев. Абдуллаев, подойти.

Мужик — средних лет, тёмноволосый, с усами, в потёртой кожаной куртке, вышел из строя, подошёл к столу, назвал себя. Контролёр сверил с делом — кивнул: «Сумку в угол, забери. Следующий».

Фамилии шли одна за другой — Абдуллаев, Бояркин, Волков, Гараев..., и с каждой коридор пустел на одного человека, а куча сумок в углу уменьшалась, и каждый, кто забирал свою, брал её так, будто брал что-то живое, осторожно, прижимая к себе, как ребёнка. Для кого-то в этой сумке — всё. Для кого-то — пустяк. Разница — в том, что у кого-то «всё», это больше, чем у кого-то «всё». Но в этом коридоре — разницы нет. Здесь все равны. Все — арестанты.

Мужик, стоявший рядом с Сергеем, — коренастый, с татуировкой на шее, которую видно было из-под воротника, наклонился и прошептал:

— Слышь, малой, ты как — не суетись, когда твою фамилию назовут. Спокойно подойди, назови всё чётко. Не дёргайся. Они дёрганных не любят.

— Спасибо, — кивнул Сергей.

— Не благодари. Просто — удачи. Тут все — за себя, но иногда — за всех.

— Хударев.

Сергей вздрогнул. Не от страха — от неожиданности, как вздрагиваешь, когда тебя зовут из темноты, хотя ты ждёшь. Он вышел из строя, подошёл к столу. Контролёр — молодой, лет двадцать пять, с бритой головой и усталыми глазами, посмотрел на него, потом в дело, потом снова на него. Что-то мелькнуло в его взгляде — может, удивление: малолетка. Единственная во всём этапе. Малолетка во взрослой тюрьме, это необычно, это — аномалия, это, вещь, которая не должна быть, но есть, и с ней приходится иметь дело.

— Фамилия, имя, отчество, год рождения, статьи, — сказал контролёр, глядя в дело, а не на Сергея.

— Хударев Сергей Николаевич, тысяча девятьсот семьдесят седьмого года, статьи сто сорок четвёртая часть первая и сто шестьдесят третья, — сказал Сергей ровно, без запинки. Он повторял это столько раз, что слова стали автоматическими, как «здравствуйте» или «спасибо», — произносишь, не думая, не чувствуя, без веса, без вкуса. Просто — слова.

Контролёр сверил. Кивнул.

— Сумку забери. В комнату обыска. Третья дверь направо.

Сергей подошёл к углу, нашёл свою сумку — потёртую, тёмную, с заедающей молнией,, поднял, прижал к боку. Сумка была лёгкая, почти пустая, и от этой лёгкости стало горько: у других — авоськи, набитые вещами, которые им принесли родные, тёплые носки, домашняя еда, сигареты, книги. У него — почти ничего. Не потому что некому принести. Потому что некому. Точка. И от этой точки — пустота, которая не заполняется ничем, ни сигаретой, ни кашей, ни сном.

Комната обыска — маленькая, метров восемь, с белыми кафельными стенами, на которых были потёртости и тёмные пятна, может, от обуви, может, от чего-то ещё, о чём лучше не думать. В углу — стол, металлический, на нём, лампа с абажуром, которая мигала, как муха,

которая хочет взлететь, но не может. На столе — ничего, только лампа и воронка для досмотра, металлический раструб, в который вытряхивают содержимое сумок, чтобы прощупать, проверить, нет ли чего запрещённого. В другом углу — скамейка. На стене — зеркало, мутное, с трещиной по диагонали, в котором Сергей увидел своё отражение: худой, обветренный, с тёмными кругами под глазами и с выражением лица, который он называл «каменным», лицо человека, который давно перестал показывать, что чувствует.

— Сумку на стол. Раздеваться, — сказал контролёр, не глядя. Он делал это сотни раз, и Сергей был для него — очередной.

Сергей кинул сумку на стол. Контролёр — а за ним ещё один, который зашёл следом, набросились на неё, как собаки на кость: раскидали вещи по столу, вытряхнули всё из карманов, вывернули подкладку, прощупали швы, разворотили свёрток с бельём, тюбик пасты открыли и понюхали, не спрятано ли что. Пакет с чаем — мятый, тонкий, перевязанный ниткой, порвался, и заварка, тёмная, пахучая, рассыпалась по столу, как мусор, мелкая и ненужная. Сигареты — несколько штук, без пачки, завёрнутые в бумагу, ломали пополам, проверяя, не заточка ли внутри. Одна сломалась. Контролёр бросил обломки на стол, и они лежали там, раздавленные, как пальцы, и Сергей смотрел на них и думал: вот — всё. Всё, что собрали ему зеки по камере. Всё, что у него есть. Лежит на грязном столе, разложенное, растоптанное, обысканное. И ничего не запрещено. И от этого — ещё горше: нечего прятать, нечего защищать, не за что держаться.

В это время Сергей раздевался. Скинул куртку, свитер, рубашку, штаны — сложил на скамейку, стопкой, привычно, аккуратно, как учили в спецшколе: вещи, в порядке, всегда в порядке, потому что беспорядок, это повод, а повод, это удар. Разделся до трусов. В комнате было холодно — кафель, бетон, ни отопления, ни батареи, только лампа, которая не грела, а светила, тускло, мигая, будто сама мёрзла. По телу пошли мурашки — мелкие, частые, как сыпь. Мышцы напряглись, кожа подтянулась, и Сергей стоял, сжав кулаки, и ждал.

— А чё стоишь, ё-моё, — сказал контролёр, не повышая голоса, но с нажимом. — Трусы снимай.

Сергей посмотрел на него. И вдруг — откуда-то, из глубины, из того места, где жил ещё мальчишка, который ворует коврики с чужих порогов, поднялось что-то тёплое, жёсткое, упрямое. Не злость. Не страх. Просто — упрямство. Последнее, что у него было. Единственное, что не отбирали. Тело — отбирали, свободу, отбирали, вещи, отбирали, имя, отбирали. А упрямство — нет. Упрямство, это не действие, это — отказ. Не «я буду», а «я не буду». И от этого «не буду» — внутри что-то держалось, как последняя стена, которую не пробили.

— Не буду снимать, — сказал Сергей. Тихо. Но — твёрдо.

Контролёр посмотрел на него — впервые по-настоящему, не как на объект, а как на человека. И в его взгляде не было ни злости, ни удивления — только усталость. Он видел это сотни раз. Малолетки, впервые — упираются. Это — нормально. Это — этап. Сегодня упирается, завтра — не будет. Послезавтра — будет сам снимать, не дожидаясь команды. Это было правилом. Так — со всеми.

— Будешь, — сказал он ровно. — Никуда не денешься.

— Не сниму, — повторил Сергей, и голос его не дрогнул, но внутри — дрогнуло. Где-то в глубине, где жил страх, который он не показывал.

Второй контролёр — постарше, с усами и усталыми глазами, посмотрел на первого, потом на Сергея, и сказал негромко, почти по-человечески:

— Малой, не усложняй. Все снимают. Ты — не исключение. Тут — всем одинаково. Понял?

— Понял. Но не сниму.

— Ну, дело твоё, — второй пожал плечами. — Сними сам или помогут. Разницы — никакой. Только во втором случае — хуже.

Сергей не ответил. Молчал. Стоял. Кулаки — сжаты. Челюсть — сжата. Тело — напряжено, как струна, и мурашки, по всему телу, и холод, от ног, от кафеля, от воздуха, и ничего, кроме упрямства,, тёплого, тихого, последнего.

Удар был — не сильный. Пару раз — дубинкой по спине, плашмя, не ребром, не больно, а так, обидно. Контролёр бил без злости, без удовольствия — привычно, как хлопают муху: не для того, чтобы убить, а для того, чтобы улетела. Звук был — глухой, басовитый, и от него по спине, не боль, а вибрация, как будто внутри что-то сдвинулось, подалось,, то самое упрямство, которое держалось, как последняя стена,, дало трещину. Не рухнуло — треснуло. И через эту трещину — просочилось: ладно. Хорошо. Сниму. Чего стоит, это упрямство, если за него — дубинкой. Чего стоит — всё, если за всё, дубинкой.

Сергей снял трусы. Держал в руках — сжав, скомкав, как что-то стыдное, последнее, своё. Голый, в холодной комнате, с мурашками по всему телу, с трещиной в упрямстве — он стоял и не смотрел ни на кого. Смотрел в стену. В белую кафельную стену, на которой были потёртости и тёмные пятна, и думал: так. Вот так. Так, это и есть. Ничего. Нет ничего. Нет ни одежды, ни имени, ни упрямства. Только — тело. Голое. В холодной комнате. И человек с дубинкой, который говорит: приседай.

— Приседай. Три раза.

Сергей присел. Раз. Два. Три. Встал. Колени — дрожали, не от холода, не от страха, от унижения. Приседание голым в холодной комнате, под взглядом контролёра,, это не проверка. Это — ритуал. Ритуал слома. Тебя заставляют сделать то, что ты не хотел, — и ты делаешь. И после этого — ты другой. Не сломанный — другой. Потому что знаешь: ты сделал. Ты — присел. Голый. Перед чужим человеком. В холодной комнате. И мир не рухнул. И ты не умер. И от этого — не легче, а, пустее. Будто внутри — вынули что-то и поставили на место пустоту.

— Одевайся, — сказал контролёр, уже отвернувшись к столу, где лежали растоптанные сигареты и рассыпанная заварка.

Сергей надел трусы. Потом — рубашку, свитер, штаны, куртку. Каждую вещь — привычным движением, не думая, не чувствуя. Тело — одевалось само. Голова — была где-то в стороне, как будто висела над плечом, наблюдая со стороны, как кто-то, похожий на Сергея, но не Сергей, натягивает свитер, застёгивает молнию, подбирает с стола обломки сигарет, сгребает заварку в кучку, складывает бельё обратно в сумку. Как будто он — не он. Как будто он — зритель в собственном кино, которое давно снято, и плёнка, затёрта, и кадры, знакомы наизусть, и всё равно, смотришь, потому что некуда деться, и выход, нет, не из комнаты, из себя.

— Обиженный — не обиженный? — спросил контролёр, не глядя. Вопрос был — казённый, рутинный, как «как дела» на проходной. Не потому что интересно — потому что положено.

— Не обижен, — ответил Сергей. — По жизни — всё нормально.

Это был важный вопрос. Важнее, чем казалось. «Обиженный», это опущенный, это — низшая каста, это, необратимо. Если скажешь «обижен» — тебя запомнят, запишут, передадут по этапу, и всё, навсегда. Нет возврата. Нет — назад. Сергей знал это — не по себе, по слухам, по рассказам, по тому, как в камерах шёпотом обсуждали, кто, кто, и кто, куда. И ответил — не обижен, по жизни всё нормально, спокойно, ровно, без запинки. Потому что — не обижен. По жизни — всё нормально. Нормально — не значит хорошо. Нормально — значит, пока не опущен. Пока держусь. Пока живой.

Контролёр кивнул. Записал что-то в журнал — быстро, небрежно, строчки бежали по бумаге, как муравьи по столу. Потом — махнул рукой в сторону двери:

— В отстойник. Коридор, прямо, первая дверь налево.

Глава 3. Отстойник

Отстойник, это камера без кроватей. Две лавочки вдоль стен — деревянные, тёмные, отполированные чужими телами до блеска. Туалет в углу — за перегородкой в рост человека,

из тонкой фанеры, которая не доставала до потолка на полметра, и оттуда, из-за перегородки, шёл запах, к которому Сергей уже привык: запах мочи, дезинфекции и ещё чего-то, чему нет названия,, запах большой скученности людей в маленьком пространстве.

Камера — небольшая: метров пять-шесть в длину, метра четыре в ширину. Потолок — низкий, с одной тусклой лампой, закрытой решёткой, свет, жёлтый, болезненный, как у лампы в подъезде, которую не меняли годами. Стены — крашенные, светло-серые, с потёртостями и трещиной, которая шла от угла к окну,, длинная, тонкая, как шрам. Окно — маленькое, зарешёченное, под самым потолком, через которое виднелся кусок неба, серый, плоский, без единого облака, как простыня, и так же, безжизненный.

Там сидели все, кто прилетел с Сергеем в одном этапе. Те же лица, что были в вертолёте, в воронке, в коридоре — усталые, серые, с глазами, которые смотрели в одну точку или никуда. Мужики — от двадцати до пятидесяти, в разных одеждах, но с одинаковым выражением: ожидание. Не надежда — ожидание. Разница — как между «хочу» и «буду». Они не хотели — они ожидали. Ожидали — распределения, решения, движения, какого-то сдвига, который скажет: теперь, туда. Или — теперь, сюда. Что-нибудь. Хоть что-нибудь, лишь бы — не это, сидение в камере без кроватей, на лавках, в ожидании, которое тянется, как резина, и от которого внутри, всё звенит.

Сергей был единственной малолеткой в этапе. Единственной — и это было заметно: все были старше, все были, больше, тяжелее, обветреннее, и он среди них, худой, молодой, с лицом, на котором ещё не успели поселиться те глубокие морщины, которые приходят с годами за решёткой. Он сидел на лавке, прижавшись спиной к стене, — холодной, как лёд,, и ждал. Ждал, когда назовут его фамилию. Ждал, когда конвой будет удобен. Потому что — конвой решает. Не ты, не твоё дело, не твоя статья — конвой. Дневная смена не стала замораживаться разводом по камерам — зачем, если через час смена? Пусть ночная разбирается. И так — всегда: дневные, не наши, ночные, не наши, а ты, сиди и жди. Время — не твоё. Время — их. Ты — содержимое. Содержимое — не решает.

Мужик напротив — тёмноволосый, с татуировкой полосы на плече,, посмотрел на Сергея и спросил:

— Малой, ты чё один? Без передачки?

— Один, — ответил Сергей.

— А тебе чё, никто не собирает? Мать, отец?

Сергей помолчал. Потом сказал ровно:

— Нет.

— Совсем?

— Совсем.

Мужик покачал головой, достал из кармана мятую пачку сигарет, вытряхнул одну, протянул:

— На. Покури. Тут — так: у кого есть, тот делится. Завтра у тебя будет — ты поделишься.

Сергей взял сигарету. Прикурил от зажигалки, которую мужик протянул, — дешёвой, пластиковой, с облупившимся рисунком. Дым пошёл — горький, тёплый, и от него в груди что-то шевельнулось, будто кот, который спал и проснулся. Никотин ударил в голову — легко, приятно, и на секунду, только на секунду, стало легче. Не хорошо — легче. Как будто кто-то снял с плеч один из мешков, которые он нёс.

— Спасибо, — сказал Сергей.

— Не за что. Тюрьма — она такая. Сегодня ты голодный, завтра — я. Сегодня у меня передачка, завтра — у тебя. Колесо крутится.

В отстойнике было относительно тихо. Кто-то курил — сигареты передавали по кругу, и дым стоял в камере синим туманом, и от него щипало глаза. Кто-то тихо разговаривал — вполголоса, наклонившись друг к другу, и в разговоре были слова: «срок», «статья», «колония»,

«пересылка», «мать», «дом». Кто-то спал — сидя, опустив голову на грудь, с руками, сложенными на коленях, как у молящегося. Спали — как спят в неволе: не отдыхая, а убегая. Сон, это побег, единственный, который доступен всегда, который не карается, не наказывается, не пресекается. Закрой глаза — и ты, не здесь. Открой — и ты, здесь. И пока глаза закрыты — ты, где-то. Может, дома. Может, в детстве. Может — нигде. Но — не здесь.

Сергей не спал. Не мог. Сидел, смотрел на стену, на трещину, которая шла от угла к окну — длинная, тонкая, как река на карте,, и думал. Думал — о разном. О том, как он сюда попал. Не физически — а как-то вообще, по жизни. Как мальчишка, который в шесть лет убегает из дома босиком по асфальту, оказывается в двадцать с лишним лет в тюрьме. И между этими двумя точками — шестилетним пацаном в пижаме и двадцатилетним парнем в отстойнике, что? Что было? Спецшкола. Побег. Беспризорники. Вера с медведем. Нина, которая говорила «мама». Кочегарка. Гитара. Холод. Голод. Всё это — было. И всё это — привело, сюда. В камеру без кроватей, с двумя лавочками и туалетом за фанерой. И от этой мысли — не горько, не обидно, пусто. Как будто внутри — та же трещина, что на стене: идёт от угла к окну, и ничего по ту сторону, кроме серого неба, плоского, как простыня.

Тот же мужик, который дал сигарету, — его звали, кажется, Гена, или Гена-Татарин, по тёмным усам и скуластому лицу,, затушил окурок о лавку и сказал:

— Малой, а ты по жизни как? Не обижен?

— Не обижен, — ответил Сергей, и это была правда.

— Ну и хорошо. Смотри, чтоб не пристали. Ты молодой, один, без передачи — лёгкая мишень. Держись за своих. Если что — кричи.

— Спасибо.

— Не благодари. Просто — смотри в оба. Тут — как в лесу. Кто заметил первым — тот и выжил.

Вот в окончике — начале вечернего развода, в отстойник пришли контролёры. Двое. Один — с журналом, второй, с ключами. Тот, что с журналом, открыл его, полистал, нашёл нужную страницу и начал вызывать:

— Абдуллаев, Бояркин. За мной.

Двое поднялись с лавок — тяжело, кряхтя, как старики, хотя им было лет по тридцать.

Один — Абдуллаев, обернулся в дверях, посмотрел на тех, кто остался, кивнул:

— Удачи, братва.

— И тебе. Главное — здоровья.

«Главное — здоровья». Сергей слышал это каждый раз, когда этап расставался. Каждый раз — одно и то же. Не «счастливо», не «пока», не «до встречи». «Главное — здоровья». Потому что здоровье, это единственное, что здесь ещё твоё, единственное, что не отняли. Статью — отняли, срок, дали, свободу, забрали, имя, заменили номером. А здоровье пока твоё. Не заболел, не сломался, живой.

И так — по одному, по двое, отстойник пустел. Каждый уходил — с сумкой, с матрасом, с охапкой постельного белья, которое выдавали на разводе,, и за каждым закрывалась дверь, и щелкал замок, и звук был, один и тот же: щелк. Как точка. Как конец. Как — всё.

Гена-Татарин, уходя, хлопнул Сергея по плечу:

— Держись, малой. Всё будет. Может, и повезёт.

— И вам.

— Мне — уже не повезёт. Я третий раз тут. А ты — первый. Может, и последний. Держись.

Дошла очередь до Сергея.

— Хударев.

Он встал. Посмотрел на тех, кто остался — троих, которые ждали своего вызова,, и кивнул:

— Удачи, мужики.

— И тебе, малой. Главное — здоровья.

«Малой». Вот так его называли — малой. Не потому что молодой, а потому что — единственный. Единственный малолетка во взрослом этапе. И от этого «малой» — было тепло и холодно одновременно: тепло, потому что не «обиженный», не «опущенный», а малой, пацан, свой. Холодно — потому что «малой», это «другой», это «не наш», это «чужой». И в этом — вся тюрьма: ты, свой и чужой одновременно. Ты — арестант, но, малолетка. Ты — один из нас, но, не совсем. И эта «не совсем» — как та трещина на стене: идёт через всё, разделяет на «до» и «после», на «тут» и «там», на «мы» и «ты».

Глава 4. Колпашево

Сергей поднялся по лестнице на четвёртый этаж. Шёл — медленно, осторожно, неся перед собой охапку: матрас, свёрнутый валиком, поверх, одеяло, серое, казённое, тонкое, как газета, и подушка, маленькая, плоская, как блин, в наволочке, которая была когда-то белой, а стала, серой, жёлтой, с пятнами, которым не хотелось искать происхождение. В другой руке — сумка, та самая, потёртая, с заедающей молнией. Всё — неудобно, всё, норовило выскользнуть, упасть, и Сергей прижимал всё к себе, как могут прижать к себе только те, у кого больше ничего нет,, жадно, бережно, как ребёнок прижимает игрушку.

Лестница была бетонная, с металлическими перилами, холодными, как лёд. Стены — крашенные, тёмно-зелёные, с облупившейся краской, под которой виднелся бетон, серый, шершавый, как кожа слона. На стенах — царапины, кто-то нацарапал гвоздём: «Саша, 1991», и рядом, мат. Кто-то нарисовал сердце, пронзённое стрелой, — криво, неумело, как рисуют дети. И от этого сердца — почему-то, стало особенно тоскливо. Кто-то сидел здесь, в этом коридоре, нёс матрас и одеяло, и думал — не о тюрьме, а о ком-то. О ком-то, кто остался — там, за забором, за решёткой, за всеми замками. И нацарапал сердце. И ушёл. А сердце — осталось.

Тюрьма Колпашева. Сергей не знал её истории — знал только, что страшная. Знал по обрывкам, по шёпоту в камерах, по взглядам, которые делали мужики, когда слышали это название. Говорили, что построена ещё в екатерининские времена — давно, в те времена, когда и сама Сибирь была не краем, а ссылкой, не землёй, а приговором. Здание — серое, массивное, с толстыми стенами, которые, казалось, не строили, а отливали из бетона, как фундамент для чего-то тяжёлого и вечного. Находилась она в лесу, далеко от цивилизации, и лес — тёмный, густой, безразличный, окружал её со всех сторон, как стража, которая не уйдёт. А какие лагеря находились там, в лесу — про то говорили шёпотом, и от этого шёпота делалось не по себе. Сергей в них не был — его увезли чуть в другое место, потом. Но — слышал. Слышал — и запомнил. И от того, что запомнил, — не спалось иногда ночью.

Контролёр шёл впереди — быстро, не оглядываясь. Сергей еле поспевал, охапка крепилась, матрас норовил выскользнуть. На четвёртом этаже — коридор, длинный, тусклый, с рядом дверей по одну сторону, железных, серых, с глазками и кормушками. За дверями — тишина. Или — не тишина, а то, что звучит тише тишины: дыхание, шорох, шаги. Жизнь — за дверями, была, но не показывалась. Как рыба на дне: есть, но не видать.

— Лицом к стене. Руки за спину.

Сергей повернулся. Стена — перед глазами, серая, шершавая, с трещиной, которая шла вверх, как молния. Руки — за спину. Ждать. Всегда — ждать. В спецшколе — ждал. Здесь — ждёт. Везде — ждёт. Ждать, это единственное, что от него — постоянно, требовали. И он — ждал. Потому что — научился. Потому что — привык. Потому что — не ждать, нельзя.

Камера открылась — лязг, щелчок, скрежет засова. Дверь — тяжёлая, железная, толстой в палец, отъехала в сторону, и из камеры пахнуло застоялым воздухом: табак, хлорка, чужой пот, и ещё, что-то, чему нет названия, запах камеры, запах неволи, запах нескольких человек, запертых в маленьком пространстве на долгое время.

— Заходи, — сказал контролёр.

Сергей развернулся — привычно, быстро, как его учили: не медленно, не суетливо, ровно. Проём — узкий, и он еле протиснулся с этим матрасом и сумкой. И за ним сразу же закрылась камера. Щелчок. Лязг. Всё. Ты — внутри. Ты — заперт. Ты — один.

В камере сидели три мальчишки. Три — на двухъярусных нарах, которые занимали две стены: два внизу, один наверху. Четвёртое место — сверху, напротив, пустое. Его. Мальчишки — малолетки, как он. Разного возраста — от шестнадцати до, может, восемнадцати, хотя в тюрьме возраст, вещь относительная: один в шестнадцать выглядит на двадцать, другой в двадцать, на четырнадцать. Все — с тем же выражением: настороженность, прикрытая равнодушием. Не страх — привычка. Не злость — защита. Так выглядят все, кто сидит, все, кто ждёт, все, кто — за забором.

Сергей огляделся. Камера — небольшая, метров пять на четыре, с теми же серыми стенами, с тем же тусклым светом, с тем же окном под потолком, узким, зарешённым, через которое виднелся кусок неба. На стенах — выцарапаны имена, даты, обрывки фраз, мат, кто-то нарисовал обнажённую женщину, криво, неумело, но с такой тоской, что от одного взгляда, горько. На нарах — постель, смятая, казённая, серая. На столе — алюминиевые миски, ложки, пустой чайник. В углу — туалет, за той же фанерной перегородкой, которая не доставала до потолка.

И у Сергея сразу всплыли в голове строки — из песни, которую он слышал давно, очень давно, может, в спецшколе, может, ещё раньше, от кого-то из старших, из тех, кто уже был в лагерях и пел эти песни негромко, вполголоса, как молитву:

«Здравствуй, каменный двор, мать-старушка-тюрьма. Здравствуй, церковь, оковы, решётка.»

Он остановился на минуту. Не потому что растерялся — наоборот. Потому что понял: это — теперь его квартира. Это — дом. Не тот дом, из которого он сбегал в шесть лет босиком по асфальту. Не тот дом, где мать не сказала ни одного тёплого слова. Не тот, где отец бил молча, без объяснений. Другой дом. С чужими людьми, с казённым одеялом, с туалетом за фанерой. Но — дом. Единственный, который у него был.

Один из мальчишек — постарше, с тёмными глазами и щетиной, которая росла неровно, ключьями, посмотрел на Сергея и спросил:

— С этапа?

— С этапа, — кивнул Сергей.

— Малолетка?

— Малолетка.

— Статья?

— Сто сорок четвёртая, часть первая. И сто шестьдесят третья.

Мальчишка присвистнул — тихо, почти беззвучно, одними губами. Сто сорок четвёртая, это серьёзно. Это — не кража, не мелочь. Это — грабёж.

— Долго?

— Срок? — Сергей пожал плечами. — Суд будет. Пока — следствие.

— Понятно, — мальчишка кивнул. — Я — Диман. Это — Паха, — он указал на второго — щуплого, рыжего, с веснушками, который сидел на нижних нарах и смотрел на Сергея без враждебности, но без дружелюбия — просто смотрел, оценивал, как смотрят на нового в стае. — А вон там — Рустам.

Рустам — тёмноволосый, с бровями, которые срослись на переносице, и с татуировкой на пальце, маленькой, синей, не разобрать, что, сидел на верхних нарах и не сказал ни слова. Только кивнул — коротко, едва. И отвернулся к стене.

— Я — Серый, — сказал Сергей. — Куда ложиться?

— Вон, верхнее, — Диман указал на свободное место. — Свободное.

Сергей забросил матрас на верхние нары — привычным движением, сверху, как учили в спецшколе: матрас, первым, потом, одеяло, потом, подушка. Разложил, разгладил — руки делали сами, голова была где-то в стороне. Потом сел на нары, спустил ноги, посмотрел на мальчишек. Три незнакомых лица. Три чужих человека. Три — как и он, малолетки во взрослой тюрьме. И от этого — не ближе, не теплее, не легче. Но — не так одиноко. Не один — уже не один. Пусть — чужие. Пусть — незнакомые. Но — не один.

— Серый, а ты откуда? — спросил Диман, закидывая руки за голову.

— С севера. Стрежевой.

— Ого. Далеко. А как сюда попал?

— Вертолётom. По этапу.

— Вертолётom, — Диман хмыкнул. — Круто. Мы — воронком. А ты — вертолётom. Как шишка-пассажир.

— Да, — невесело усмехнулся Сергей. — Только обратно не привезут.

— А-а, — Диман махнул рукой. — Обратно — никогда не привозят. Только — дальше.

Паха, который молчал всё это время, разглядывая Сергея из-под рыжих бровей, вдруг спросил:

— А ты чё, в спецшколе был? Только не ври — я сразу вижу.

— Был, — ответил Сергей. — А что?

— Да так. Примета есть. Кто из спецшколы — те сразу по-другому входят. Не суетятся.

Не озираются. Как домой приходят.

— А я и пришёл домой, — сказал Сергей, и не понял сам — пошутил или нет.

Он посмотрел на кусок неба в окне. Серое, плоское, безжизненное. Но — небо. Не стена, не потолок, не решётка. Небо. И пока есть небо — есть, что-то. Может — не надежда. Может — не будущее. Но — что-то. Что-то — за стеной. Что-то — за забором. Что-то — за этим серым, плоским, безжизненным окном, которое, как щель в двери, через которую виден другой мир, в который тебе, хода нет, но который, есть. И от того, что он есть, — не легче, но, не так пусто.

Это его теперь квартира. Сергей закрыл глаза. Лёг. Одеяло — тонкое, казённое, пахнущее чужим мылом. Подушка — плоская, как блин. Матрас — жёсткий, с комками, как будто внутри, не вата, а чья-то смятая, скрученная, неудобная жизнь. Но — лёг. И лежит. И живой. Пока живой. И пока живой, не последнее. Не последнее небо. Не последняя камера. Не последний день. Пока — не последнее.

Пока.

Глава 5. Камера

Сергей начал потихоньку, понемногу входить в режим тюремной жизни. Не то чтобы он этого хотел — скорее, тело само перестраивалось, как перестраивается оно при переезде в новый город: сначала всё чужое, потом привыкаешь, потом перестаёшь замечать. Так и здесь — камера, решётка, жёлтые стены, запах хлорки и чужого табака, всё это в первый день резало, давило, кричало «ты не отсюда», а через неделю стало просто фоном. Через две — нормой. Через три — уже и не помнилось, что когда-то было по-другому.

У него было преимущество перед своими сокамерниками — и он это знал, хотя никогда бы не сказал вслух. Спецшкола. Не пацаны с улицы, не детские дома — спецшкола, где жёсткость была не исключением, а правилом, где били, не от злости, а от системы, где слабость, это приговор, а сила, единственная валюта. Сергей впитал это не головой — кожей, мышцами, костями. Он знал, как смотреть, чтобы не спровоцировать удар. Знал, как молчать, чтобы не привлечь внимание. Знал, как стоять, чтобы не казаться слабым, и как сидеть, чтобы не казаться опасным. Это — не наука, это, инстинкт. Тело помнило то, что голова давно забыла.

Он быстро выбился в лидеры. Не потому что хотел — а потому что не мог иначе. Жестокость спецшколы, впитанная в кожу, в кости, в рефлексy — она выходила наружу, как выходит из земли вода: неостановимо, тихо, но, сильно. Он не дрался, не кричал, не угрожал — он

просто был. Был так, что другие — чувствовали: этого не надо трогать. Не потому что страшно — а потому что бесполезно. Как стену — её не трогают не от страха, а от понимания: она не сдвинется.

— Серый, а ты чё, в спецшколе был? — спросил как-то Диман, лежа на верхних нарах и болтая ногами.

— Был, — ответил Сергей, не поднимая глаз от журнала, который листал, больше по привычке, чем из интереса.

— И как там?

— Как тут. Только кормят хуже.

Диман хмыкнул. Паха, сидевший у стола и раскладывая карты, поднял голову:

— Нет, ну серьёзно. Ты чё такой... ну, крутой сразу? Тебя ж никто не трогает.

Сергей отложил журнал, посмотрел на Паху — спокойно, без вызова, без позы, и сказал:

— А зачем меня трогать? Я никого не трогаю. Живу спокойно.

— Ну да, — не унимался Паха, — только когда Руслан тебе за чифирь не отдал, ты его так посмотрел — он два дня с тобой здоровался. А ведь он старше тебя.

— Руслан — мудака, — сказал Сергей просто. — Руслан — который взял чужое и не отдал. Я не просил. Я — посмотрел. Он — понял. Всё.

— А если б не понял?

— Тогда бы — по-другому. Но он понял.

Паха открыл рот, чтобы спросить ещё, но Диман пнул его с верхних нар — не сильно, но ощутимо, и сказал:

— Паха, закройся. Не лезь. Человек — жил, знает. Ты — в первый раз, ты — не знаешь. Сиди и учись.

Паха замолчал. Но в глазах его — рыжих, с веснушками на веках, мелькнуло что-то: не обида, не страх, уважение. Тихое, не сказанное вслух, но — видимое. Малолетка, который прошёл спецшколу, это не мальчишка с улицы. Это — другой уровень. И Паха это понял — или начал понимать.

Но это ему было нужно для выживания — и только. Он никогда не показывал свою слабость, хотя ему совершенно это было ненужное — быть жёстким, быть первым. Если бы можно было — он бы свернулся на нарах, накрылся с головой одеялом и лежал так, тихий, незаметный, пока всё не закончится. Но нельзя. Потому что в тюрьме, как и в спецшколе, как и на улице, слабость, это приглашение. Покажешь, что тебе плохо — и придут те, кому от этого плохо станет хорошо. Так устроен мир за забором, за решёткой, за любым замком: если ты не волк — ты овца, а овцу стригут.

Он завидовал сокамерникам. Тихо, зло, стыдно — но завидовал. Им приносили передачи. Мама, бабушки, тёти — кто-то приходил, кто-то писал, кто-то заполнял бланки, стоял в очередях, нёс пакеты с едой, с одеждой, с сигаретами. Маленькие, скучные, казённые процедуры — заполнить бланк, передать через окошко, ждать, пока контролёр проверит, нет ли чего запрещённого, но за этими процедурами стояло то, чего у Сергея не было: кто-то, на воле, думал о нём. Кто-то знал, что он здесь. Кто-то — ждал.

У Сергея ничего этого не было. Никто не приходил. Никто не писал. Никто не заполнял бланки. Сумка, с которой он приехал, — та самая, потёртая, с заедающей молнией, была всем, что у него было. И от этого — не обидно, не горько, пусто. Пусто, как в той камере без кроватей, где он ждал развода. Пусто, как в карцере, где бетон и лампочка. Пусто — как в его жизни, с самого начала.

И у него была полная неловкость, когда его спрашивали:

— Серый, а ты сирота? Чё тебе никто не передаёт?

Сергей не знал, что на этот вопрос отвечать. У него официально были родители — живые, здоровые, с адресом и телефоном. А на самом деле их не было. Он мог спокойно себя считать

безотцовщиной, сиротой, без родителей. «Сирота при живых родителях» — звучит как оксюморон, но для Сергея это было не словосочетание, а, жизнь.

— Ну... у меня родители есть, — говорил он, и голос его в этот момент становился ровным, пустым, как стена, на которой ничего не написано. — Просто далеко. Не могут приехать.

— А письмо? — не понимал Диман. — Написать-то могут?

— Могут. Наверное. Не знаю.

— Ну, ты им напиши. Скажи, куда писать. Они и напишут.

— Да, — кивал Сергей. — Напишу.

И разговор заканчивался. Потому что Сергей замолкал, и по его лицу было видно — всё, закрыто, не лезь. И мальчишки не лезли. Чувствовали — по интонации, по тому, как он отводил глаза, по тому, как брал журнал и начинал листать, не читая, что здесь, граница. И за эту границу — нельзя. Потому что за ней — боль. А боль — у каждого своя, и чужую, не трогают.

Из-за этого он больше выплёскивал злости на сокамерников. Был жёстче к ним, чем нужно. Пытался обыграть их на передачках — не от жадности, а от злости. От той злости, которая копится, когда тебе обидно, но показать обиду нельзя, и она превращается в агрессию — мелкую, бытовую, неопасную, но, постоянную. Он обыгрывал их в карты, выигрывал сахар, сигареты, чай — и не потому что ему было мало, а потому что, так он чувствовал хоть какой-то контроль. Хоть какую-то власть. В мире, где у него не было ничего — ни передачи, ни письма, ни свиданки, выигранные в карты пачка чая были единственным, что он мог назвать своим. Своим, не казённым, не выданным, не собранным чужими руками, а выигранным. Отвоёванным. Своим.

Глава 6. Дорога

Он привык уже к местной жизни. Целый день — в основном спали или что-нибудь читали, занимались всякой ерундой, готовились к вечеру, вся жизнь в тюрьме начиналась вечером. Днём — тишина, сон, карты, журнал. Днём — ничего не происходит. Днём — ждёшь. А вечером — начинается.

Вечером начинались дороги. Дорога была превыше всего.

Дорога. Это слово в тюрьме значит не то, что на воле. Дорога, это связь между камерами. Нитка, верёвка, шнурок, перекинутый из окна в окно, через двор, под часовыми, под фонарями, под носом у контролёров. По дороге шла малява — записка, свёрнутая в мелкий квадратик, привязанная к грузику. Грузик — шарик из хлебного мякиша, плотно скатанный, размером с орех. Нитка — из распушенной простыни, тонкая, но крепкая. Всё это — тайком, ночью, в темноте, когда свет уже отключили и контролёры ушли к телевизору.

Дорога, это не просто связь. Это — жизнь. Единственное, что связывает камеры, которые иначе — изолированы, отрезаны, заперты. Без дороги ты — один. С дорогой — ты, часть. Часть системы, которая живёт своей, параллельной жизнью, невидимой для охраны, для контролёров, для всех, кто — по ту сторону решётки. Дорога, это новости, просьбы, предупреждения, сплетни, приговоры. По дороге можно узнать, кто — кто, что, как, что, где. По дороге можно передать привет, чай, заточку, маляву. Дорога, это вена, по которой течёт кровь тюрьмы.

Сергей быстро понял, как это работает. Вечером, когда свет в коридоре тускнел и контролёры уходили на перекур, кто-то из камеры — обычно Диман, потому что руки у него были лёгкие и глаза, острые, крутил шарик на нитке, раскачивая его, как маятник, и целился в окно соседней камеры. Попадал не сразу — шарик бился о стену, отскакивал, падал. Но — рано или поздно, попадал. Нитка повисала между окнами — тонкая, едва видимая в темноте, и по ней шла малява.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.